

*Крошка
Цорес*

Абрам Терц

(Андрей Синявский)

*Крошка
Цорес*



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т35

Художественное оформление АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

На переплете использован рисунок МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ РОЗАНОВОЙ

Предисловие ЮРИЯ САПРЫКИНА

Терц, Абрам.

Т35 Крошка Цорес : [повесть, рассказы] / АБРАМ ТЕРЦ (Андрей Синявский); предисл. Ю.Сапрыкина. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2026. — 413, [3] с. — (Независимый текст).

ISBN 978-5-17-188148-1

Абрам Терц — литературный псевдоним Андрея Донатовича Синявского (1925–1997), филолога и прозаика, сотрудника ИМЛИ в Москве и профессора Сорбонны в Париже, автора книг “Прогулки с Пушкиным”, “В тени Гоголя”, “Голос из хора”, “Иван-дурак”, повести “Любимов” и романа “Спокойной ночи”.

В книгу вошли ранние рассказы и повести, написанные с 1955 по 1963 годы и опубликованные за границей под псевдонимом Абрам Терц, и роман “Крошка Цорес” (1979).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-188148-1

- © Синявский А.Д., наследник.
- © Сапрыкин Ю.Г., предисловие.
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление.
- © ООО “Издательство АСТ”.

Содержание

Юрий Сапрыкин

Превращение

7

Крошка Цорес

11

Мысли врасплох

83

В цирке

123

Ты и я

145

Квартиранты

175

Гололедица

195

Пхенц

285

Суд идет

315

Юрий Сапрыкин

Превращение

В середине 1950-х Андрею Синявскому зачем-то понадобился Абрам Терц. Эту потребность можно понять: автор работает в академическом институте и преподает в самых высших учебных заведениях — и при этом сочиняет прозу, никак не вписывающуюся в тогдашние каноны, а после смерти Сталина прошло всего ничего, и непонятно еще, какая погода за окном. Маска, за которой можно скрыть свои паспортные данные, в таких условиях — разумное средство самосохранения. Вопрос в том, зачем Андрею Синявскому, потомственному интеллигенту из бывших дворян, понадобился *именно* Абрам Терц — одесский карманник из блатной песни.

Это имя звучит как вызов — нечто незаконное, маргинальное, пощечина общественному вкусу. Маска в этом случае и скрывает, и сдает с потрохами: Терц — нахал и наглец, нарушитель правопорядка. Тексты, опубликованные под этим псевдонимом (а прежде тайно переданные для публикации за границу) действительно довели автора до скамьи подсудимых и тюремного барака; но беззаконие Терца лежит не только в криминально-правоохранительной плоскости. Настоящий писатель, по Синявскому, — сам по себе незаконная комета, нарушитель границ, а литература, как напишет Синяв-

ский в одной из поздних статей, это “по своей природе инакомыслие (в широком смысле слова) по отношению к господствующей точке зрения на вещи”. Литератор по определению отщепенец, изгой, *не наш* — и блатная одесская кличка дорисовывает этот портрет.

“У меня с советской властью стилистические разногласия” — фраза Синявского стала крылатой, едва ли не заезженной. Поскольку сказаны эти слова после ареста, лагеря и эмиграции, можно предположить, что для Синявского в этой формуле нет презрительной позы (каковая часто возникает у повторяющих эту фразу) — дескать, “я выше этого”. Скорее это, опять же, вызов: автор осознанно “избегает статуса жертвы”, как сформулировал Бродский. На *их* стороне подвалы, на *их* стороне могилы, против *них* незаконное слово бессильно, но его материя легка и летуча, оно сделано из другого вещества, нежели проволока, подвал, приговор, протокол — или официальная, разрешенная словесность. Один из самых известных текстов, вышедших из-под пера Абрама Терца, называется “Что такое социалистический реализм” и посвящен не только описанию довлеющего стиля, но и способам ухода от него: “Я возлагаю надежду на искусство фантасмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи, Шагала... научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой фантазии”.

“Абрам Терц — это литературная маска, выражающая важную сторону моего «я»”, — говорил Синявский в интервью американскому слависту Джону Глэду, и видимо, в этой маске и вправду есть что-то личное. Терц — это лукавая тень Синявского, чертик, выскакивающий

из-за его плеча: он шут, он арлекин, он просто смех, он прячет себя в тексте, ходит по нему, как по проволоке. Один из рассказов Терца так и называется — “В цирке”, и в нем автор время от времени перескакивает с третьего лица на первое, начинает говорить от “я”: “И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубашкой. «Деньги ваши — стали наши», — как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус”. В рассказах Терца много превращений, преобразений, быстрой смены ролей: иногда невозможно отгадать, жив персонаж или мертв, человек он или неведома зверушка. Фантазмагория, гротеск, нелепица — Синявский-Терц сам себя вписывает в почтенную гоголевско-гофмановскую традицию, жонглируя в текстах соответствующими цитатами; дополнительный пласт ирреальности возникает, когда автор сам выходит из-за кулис — и оказывается, что страдания Крошки Цореса лишь его, автора, полуночный бред, а взгляд то ли соглядатая, то ли Бога, следящего за персонажами рассказа “Ты и я” (одного из них зовут Николай Васильевич), принадлежит человеку, пишущему этот рассказ.

Любопытно, что во время судебного процесса — по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде — Синявскому ставят в вину и эту его манеру: гротеск, иронию, “двойное кодирование”. Зоя Кедрина, общественный обвинитель на процессе Синявского-Даниэля, пишет в “Литературной газете”: “Из-за нарочитой запутанности изложения и нагромождения всевозможных иносказаний иной раз начинает казаться, будто перед вами бессвязное бормотание”. Сторона защиты вынуждена излагать азы: писатель и правозащитник Лев Копелев пишет письмо-объяснение, что такое гро-

теск, со ссылками на Гегеля, Бахтина и Советскую Литературную Энциклопедию: “Характерные особенности гротеска затрудняют его восприятие и даже вызывают антипатию, вполне естественную у читателей, воспитанных в иных литературных традициях. Но это никак не может обосновать уголовного преследования по политическим обвинениям”. Суд не принимает это во внимание, летучее увертливое слово Терца не вписывается в свинцовую логику приговора и протокола.

Летучесть, увертливость, даже вертлявость — эти черты Синявский-Терц придает и “нашему всему”, то бишь герою книги “Прогулки с Пушкиным”. “Легкость — вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой мирозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов”. Когда Синявский-Терц говорит о “небрежной эскизности”, “мелькании по верхам”, “болтовне”, свойственной “Евгению Онегину”, — кажется, что он говорит и о своих текстах. Ни одно определение не исчерпывает Пушкина полностью, он летает поверх любых барьеров — и маска Терца позволяет Синявскому добиваться того же: даже предельно серьезный Терц, рассуждающий о Боге и смерти в “Мыслях врасплох”, в этой серьезности неуловимо игрив. В конце концов, автору скучно и тесно быть всегда одним и тем же, неустранимая свобода влечет его за собственные пределы; подобно Создателю, он творит нечто из ничего, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Крошка Цорес

Эрнста
Теодора
Амадея
Гофмана —
светлой памяти

— 1 —

Я родился и воспитался вполне нормальным ребенком. Правда, мать, укачивая меня в невероятно скрипучей кровати, говаривала не однажды: “спи, спи, горе мое!..” И старалась заглушить скрипом стоны полусумасшедшей старухи-алкоголички Полины Михайловны Глинки, долго и тяжело умиравшей за нашей коммунальной стеной. У Полины Михайловны уже были пролежни, и братья Кузнецовы, зарясь на отдельную комнату, в роли опекунов переворачивали ее по вечерам с боку на бок, отчего она страшно кричала, восстанавливая дом. В результате, к четырем годам, я начал заикаться и ничем уже не мог побороть эти спазмы в голосовых связках. Я говорил примерно так:

— М-м-м-мама, д-д-д-дай м-м-м-молочка!..

И я взмолился. К пяти годам я взмолился. Я возопил мысленно к Господу, потому что, совсем разувшись, научился говорить. И я сказал — если воспроизвести мои слова печатно и удобочитаемо:

— Мама! — сказал я. — Пошли мне с неба добрую фею, исполняющую желания. Прошу из всех сил. Фею! Фею мне — и немедленно!..

Как будто знал наперед, что наши просьбы, если очень попросишь, — рано или поздно сбываются. Мама и ума не могла приложить, почему я капризничаю.

Пришла врач-педиатр Дора Александровна.

— Чего ты плачешь, мальчик? — спросила она весело, похлопав меня по животу и осмотрев горло с помощью лампы на лбу и холодной мельхиоровой ложки, от которой меня выворачивало. Помню, ее дамская сумочка, поставленная у изголовья, отдавала духами.

— Фе-фе-фея! — едва вымолвил я.

Она засмеялась. Мне не было еще и пяти, когда она засмеялась над неумелым обращением. И придвинула сумку, пахнувшую духами, к себе. Раскрыв, оттуда виднелись разноцветные билетки и толстые пачки денег. В ту минуту, казалось, она предлагала всё. Богатство. Власть. Славу. А если пожелаешь — то и Дору Александровну, вместе с ее симпатичной сумочкой, которую на всякий случай она экономно захлопнула.

— Что ты хочешь, мальчик?

По болезни и малолетству я заклинился на поэзии. Ни о чем другом не мечтаю, как только чтобы речь у меня звучала бы и текла беспрепятственно, излетая изо рта правильными октавами. Жизнь, по тогдашним моим, отсталым представлениям, гнездилась исключительно в недостижимой свободе и ловкости произносить обо всем подобающие ти-

рады. Скажешь так, скажешь этак, и — “всё в порядке, всё в порядке, Ворошилов на лошадке”. Ворошилов, говорили, один, без охраны, каждый вечер выезжает проветриться на коне из своего особняка в приарбатские переулки для ночного моциона. И всё было в порядке. Цокали копыта. Москва спокойно спала. Но складно повторить достопамятный стишок я был не в силах. О, если бы мне даровали слог и талант оратора, писателя, баснописца, я бы и не то рассказал!..

— Бу-бу-будь по-твоему, маль-ч-ч-чик.

Дора Александровна была разочарована. По побледневшим ее губам скользила улыбка.

— Че-чем зы-зы-заплатишь?

— Чем хотите, Фея!

— Лю-лю-лю...

— Любовью? Охотно!

Не зная, что такое любовь, я ею пожертвовал. Отказался от добра, от славы, от богатства. От всего прекрасного на свете. Так я продал себя, не подозревая, что делаю, дьяволу. Но взамен того я заговорил. Язык мой развязался. С той поры, как ушла Дора Александровна, пропало мое заикание.

— 2 —

Закончил школу, благодаря языку, с отличием. Мои сочинения: “Образ русской женщины в поэме Некрасова «Мороз красный нос»” и “За что мы любим Илью Исаковского” — гремели, удостоенные премии в Доме пионеров. За Стаймыла Студенбеко-